

Василий Иванович Кельсиев

Галичина и Молдавия

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 93
ББК 63.3
В19

В19 **Василий Иванович Кельсиев**
Галичина и Молдавия / Василий Иванович Кельсиев – М.: Книга по Требова-
нию, 2013. – 360 с.

ISBN 978-5-518-09309-6

ISBN 978-5-518-09309-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2013

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2013

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первоизданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

III

русской земли вынырнетъ изъ омута неизвѣстности и изъ тины нелѣпаго и безтолковаго сочувствія. Сочувствіе краю можетъ основываться только на знаніи его. У насъ сочувствуютъ Галичанѣ, какъ сочувствуютъ всѣмъ славянамъ, не зная, о чемъ идетъ дѣло, не понимая ея болѣе, не зная ея скорбей.

На меня нападаютъ за мою, будто-бы, страсть рисоваться своей личностью передъ публикою, выставяты себя при каждомъ случаѣ какимъ-то героемъ и какъ бы осью, вокругъ которой вращается все рассказываемое мною. — У каждаго своя манера, каждый работаетъ по источникамъ, которыми онъ располагалъ. Источники, которыми пользовался я, какъ я уже говорилъ — мои *личные* наблюденія, случаи, бывавшіе со мною — какъ-же имъ не занимать виднаго мѣста въ моихъ рассказахъ? Не всегда ли *факты* служатъ основаніемъ всякихъ выводовъ, соображеній, теорій—политическихъ, государственныхъ и другихъ? Притомъ такіе субъективные рассказы, какъ напр. рассказъ о моемъ арестѣ въ Карпатахъ, имѣютъ еще особое значеніе и пользу. За него стануть нападать на мся кабинетные рецензенты, стануть трунить надо мною за мнимую влюбленность въ мою собственную особу — пусть такъ, на здоровье. Но можетъ быть не съ такимъ чувствомъ помянетъ меня какой нибудь русскій путешественникъ или изслѣдователь, если, забравшись въ подобныя края, очутится въ положеніи, схожемъ съ положеніемъ изъ котораго мнѣ пришлось выпутываться въ Коломыяхъ. Вспомнивъ мой подробный рассказъ, доказывающій que le diable n'est pas si noir, qu'on le fait, онъ ободрится, не потеряетъ присутствія духа — а въ этомъ половина спасенія.

Необходима еще слѣдующая оговорка: если вздумаютъ спрашивать *по одиначкѣ* Галичанъ *въ Австріи* о томъ, до чего довели ихъ усилія поляковъ и духовенство римской церкви, они, *само собой разумѣется*, будутъ говорить со-

вершено не то, что сказано мною, — о чемъ и предупреждаю моихъ читателей.

Затѣмъ, пусть читатель приметъ мою книгу такой, какова она есть. Что я могъ написать, я написалъ. Вся моя книга—рядъ вопросовъ: о Польшѣ, объ южнорусскомъ народѣ, объ евреяхъ, о церкви и о костелѣ — вопросовъ, которые рѣшимъ не мы, люди XIX вѣка, но надъ которыми не ломать голову мы не можемъ. Я забирался въ захоlustья и труппы, въ которыя до меня никто изъ нашей пишущей братьи не забирался — а потому пишущая братья (я говорю собственно о дилетантахъ литературы и публицистики) судить меня не можетъ. Изъ захоlustьевъ я вынесъ рядъ загадокъ. Разгадать ихъ не могу, а на общій судъ повернуть дерзаю. Прошу только объ одномъ: чтобъ меньше обращали вниманіе на мою личность, а больше на *вопросы*, которые я поднимаю.

Еще одно слово: письма, вошедшія въ составъ этой книги, помѣщались въ газетѣ «Голосъ» за послѣдніе два года. Перепечатывая ихъ, я счелъ необходимымъ во многомъ исправить ихъ и, гдѣ оказалось нужнымъ, дополнить.

1868 г. Октября 8.

С.-Петербургъ.

Василій Кельсіевъ.

Оглавленіе.

	СТРАН.
Предисловіе	I
Въ Краковѣ	1
Перемышль.	Письмо: I 7
	" II 23
	" III 29
Львовъ	Письмо: I 46
	" II 52
	" III 58
	" IV 64
	" V 85
Хлопы	Письмо: I 99
	" II 115
	" III 125
	" IV 132
Евреи	Письмо: I 139
	" II 153
	" III 164
	" IV 183
	" V 188
	" VI 196
Евреи	Письмо: I 202
	" II 212
	" III 220
	" IV 233
Арестъ.	Письмо: I 241
	" II 252
	" III 268
	" IV 275
	" V 284
Яссы	297
Польскіе эмигранты.	Письмо: I 317
	" II 328
	" III 338



ГАЛИЧИНА И МОЛДАВИЯ

ПУТЕВЫЯ ПИСЬМА.

ВЪ КРАКОВѢ.



Нѣтъ ничего въ мірѣ гаже и презрѣннѣе ренегата. Самое слово ренегатъ таково, что бросить имъ въ глаза кому-нибудь, перемѣнившему свои убѣжденія или свою вѣру значить оскорбить его пуще чѣмъ на смерть. Между тѣмъ ренегатство имѣетъ свой глубокой смыслъ. Савла, сдѣлавшагося Павломъ, никто ренегатомъ признать не могъ. Никто не можетъ обвинить въ ренегатствѣ человека, который изъ монархиста сдѣлался республиканцемъ, который изъ атеиста сдѣлался монахомъ, или изъ монаха сдѣлался тѣмъ, что у насъ теперь въ Россіи называется нигилистомъ.

Но убѣжденія и вѣрованія мѣняются такъ нелегко, такъ нелегко, что только тотъ, кому приходилось ихъ мѣнять, знаетъ всю тяжесть этого страшнаго процесса — перемѣны вѣрованій. Со мной былъ этотъ страшный процессъ. Отрицатель я былъ почти съ тѣхъ поръ, какъ себя помню, потому что меня душила еще ребенкомъ моя обстановка, и отрицателемъ остаюсь я до сихъ поръ. Изъ того, что я писалъ, изъ того, что я пишу, можно вывести заключеніе, какъ и выводили его, что я чело-

вѣкъ отсталый, что я консерваторъ, даже и то, что я увлекаюсь, но прежде всего и искрененъ. Всякая неправда меня возмущаетъ, а еще болѣе того возмущаетъ меня каждое недоразумѣнiе. Лѣтъ десять тому назадъ, я сдѣлался эмигрантомъ; видѣлъ пережили тѣмъ бытомъ, которымъ мало кто живетъ, и который рѣдко кому извѣстенъ. Я попалъ въ Турцію и сдѣлался тамъ адвокатомъ, опять-таки потому, что имѣлъ нравственную потребность пожить жизнью, которой никто не жилъ. Тяжелая судьба моя гоняла меня направо и налево, взадъ и впередъ, и догнала меня до Вѣны, гдѣ, превратившись въ Иванова-Желудкова, я жилъ себѣ въ ожиданiи, что не утромъ, такъ вечеромъ арестуютъ меня, но жилъ мирно и скромно, изучая славянское дѣло.

Въ Вѣнѣ мнѣ поставили вопросъ, надъ которымъ я задумался. Я былъ искреннiй украинофилъ, и искренно вѣрилъ въ то, что для поляковъ есть возможность существовать отдѣльно. Со мной спорили, спорили специалисты по этому вопросу, спорили южнорусы. Я имъ не вѣрилъ и вѣрить имъ мнѣ было отвратительно, и отвратительно было мнѣ перемѣнить мои убѣжденiя, тѣ самыя убѣжденiя, которыя какъ гвозди забились мнѣ въ душу. Ложное убѣжденiе мнѣ кажется такъ же дѣйствуетъ какъ штыкъ воткнутый въ грудь. Покуда штыкъ остается въ груди, до тѣхъ поръ раненый живъ; стѣбитъ его выдернуть, чтобы убить этого раненаго. Покуда вѣра остается въ душѣ, до тѣхъ поръ живется легко и привольно. Вѣра тѣснитъ иногда, вѣра душитъ, но съ ней все-таки спокойно, съ ней сжилось, какъ съ этимъ штыкомъ въ легкихъ; отнять эту вѣру, вырвать ее изъ сердца — сердце кровью обольется.

Мнѣ пришлось сдѣлать надъ собой такую операцію въ Вѣнѣ. Нѣсколько лѣтъ сряду вѣрилъ я въ украинофильство и въ польщину, и вдругъ въ Вѣнѣ славяне стали у меня выдергивать изъ груди этотъ всажанный штыкъ. Ампутацiя рака, дикаго мяса тяжела чрезвычайно и рѣшиться на нее весьма нелегко. Сдаться сразу на убѣжденiя моихъ новыхъ знакомыхъ въ Вѣнѣ я не сумѣлъ, я съ ними спорилъ, и они возражали мнѣ одно только: «Вы знаете вопросъ польскiй и украинскiй по теорiи, по слухамъ — ступайте, изучите его на практикѣ». Единственное, что предстояло мнѣ для изученiя южнорусскаго народа, его отношенiй съ поляками и его униатства, — была Галичина. Я въ Галичину я отправился, несмотря на то, что меня отговаривали отъ этой поѣздки всѣ мои лучшiе прiатели въ Вѣнѣ,

которые, не зная, кто я такой, боялись за меня, что меня тамъ или арестуютъ, или выгонять, что, какъ въ настоящей моей книги сказано, дѣйствительно и совершилось. Пріятели мои боялись за меня, боялись за тѣ оскорбленія, которыя мнѣ можетъ нанести австрійское правительство, боялись за неприятности, которымъ мнѣ предстояло подвергнуться, но я ихъ не послушалъ — мнѣ хотѣлось узнать истину и своими глазами провѣрить, правда ли, что поляки такъ неправы? правда ли, что евреи такъ гнетутъ народъ? Во имя *истины* и во имя *правды* и двинулся и очутился въ Краковѣ.

Краковъ показался мнѣ городомъ въ высшей степени любопытнымъ, несмотря на то, что онъ затопленъ евреями, а поляки изъ него вытѣснены, и что ихъ дворцы (съ контрофорсами) населены сынами Израиля.

Краковъ былъ для меня любопытенъ. Я впрочемъ проведъ въ немъ всего двадцать четыре часа. Мнѣ хотѣлось его осмотрѣть, я прошелся веѣмъ улицами этого замирающаго города, побывалъ въ бывшей залѣ сейма краковской республики, осмотрѣлъ старые костелы и наконецъ попалъ въ тотъ самый, гдѣ хоронили бывшихъ польскихъ королей.

Я видѣлъ на своемъ вѣку много церквей, но ни одна, даже Westminster-Abbey, не произвела на меня такого впечатлѣнія, какъ этотъ старый костелъ. Въ немъ пропасть придѣловъ, отдѣланныхъ средневѣковыми художниками. Каплица королевы Ядвиги вырѣзана вся арабесками рукой какого-то удивительнаго художника. Я присѣлъ въ ней на скамейку, а подлѣ меня присѣлъ какой-то полякъ. Мы оба смотрѣли и оба благоговѣли.

— Слухай, пане, сказалъ онъ мнѣ, — теперь художниковъ такихъ нѣтъ.

— Нѣтъ, сказалъ я — а у меня сердце сжималось.

— Пане, сказалъ онъ, принимая меня за поляка, — развѣ не велика и не хороша была наша цивилизація, что во времена королевы Ядвиги умѣли строить такіа каплицы. Я здѣсь, пане, сижу ужъ четвертый часъ и все смотрю. Какое это было государство! Какая мощь въ немъ была, и какіе таланты въ немъ цвѣли!

— Пане, сказалъ я, — я тоже пришелъ смотрѣть на остатки этого государства.

И вдругъ онъ обернулся ко мнѣ, и въ лицѣ его мелькнула

ненависть и отвращеніе: по моему произношенію онъ понялъ, что я moscal.

— Nie tam szasz, ranie, (мнѣ некогда) связалъ онъ, круто повернулся и кмышелъ — вышелъ для того, чтобъ не оставаться со мной, съ москалемъ, въ этой святинѣ, которую я поганю своимъ присутствіемъ.

Я понялъ, что почувствовалъ этотъ человекъ, я понялъ, каково ему было въ торжественную минуту, когда онъ дышалъ воздухомъ старой Польши, вдругъ маткнуться на москаля, который, по его мнѣнію, варваръ и звѣрь, заражающій этотъ старый соборъ своимъ дыханіемъ. Мнѣ стало горько, онъ ушелъ. Сторожъ, которому нужно было нажать два, три злотыхъ, предложилъ мнѣ свои услуги показывать соборъ. Какъ мнѣ совѣстно ни было, во-первыхъ, притворяться передъ старыми пріятелями, а сверхъ того относиться скептически къ ихъ правотѣ, я все-таки пошелъ бродить по этому старому собору. Сторожъ провелъ меня въ каплицу, гдѣ въ былыя времена сидѣли польскіе короли и королевы, гдѣ органъ гремѣлъ, и гдѣ ловкій іезуитъ ловко проповѣдывалъ свою ловкую проповѣдь.

Въ этой каплицѣ сидѣлъ нашъ Дмитрій Самозванецъ, Марина Мишекъ, будущая московская царица, сидѣла тутъ, тутъ саживали на этихъ самыхъ скамьяхъ Пушкины и прочая наша бѣглая братья, съ этихъ скамеекъ слышалась молитва противъ царя Ивана, противъ царя Алексѣя, Сапѣга входилъ сюда... Тѣнь за тѣнью, образъ за образомъ мелькали передо мной. Старая исторія, старая кровь точно съ полу подымалась и носилась около меня, призракъ за призракомъ, герои минувшихъ дней, *лицари* Рѣчи Посполитой, короли этого великаго и блестящаго государства выступали передо мной, садились на лавки, раскрывали молитвенники и молились искренно за святую вѣру католическую и за то, чтобъ Господь Богъ помогъ имъ побороть проклятую схизму. Я все видѣлъ въ эту минуту — я видѣлъ проповѣдника на кафедрѣ, я видѣлъ королей и королевъ польскихъ на скамьѣ, я видѣлъ магнатерію, которая ихъ окружала: за дверями стояли пажи и знатная шляхта, которая кланялась королямъ и тайкомъ вела заговоры съ иностранными державами...

Я не помню минуты, которую бы я провелъ такъ торжественно, какъ эти четверть часа въ каплицѣ этого стараго костела.

Все было тихо, но тѣни мертвыхъ стояли передо мной, а

я, преступный человекъ, ѣхалъ бороться противъ нихъ въ Галичии, я ѣхалъ отрицать ихъ правоту, я ѣхалъ обличать ихъ ошибки, а это были тѣмъ далеко не дешевыя. Это были тѣмъ великія, это были герои, короли и цари, это были люди, которые спасли Вѣну, которые чуть чуть не завоевали Молдавію, а я иду противъ нихъ!

Я иду противъ нихъ какъ скептикъ, я иду анализировать, что отъ нихъ осталось, я иду разбирать, правы ли они были, дѣленъ ли былъ трудъ ихъ. И сижу я въ этой каплицѣ въ глухомомъ и тяжкомъ раздумьѣ.

Около меня ходитъ сторожъ, одѣтый въ какую-то странную шинель, съ какой-то невѣроятной пелеринкой.

— Панае, говорить онъ — może, pan chce zobaczyc sklep. (По всей вѣроятности, панъ хочетъ осмотрѣть склепъ).

Мнѣ было тяжело, тяжело потому, что я ѣхалъ освидѣтельствовать все то, что сдѣлали эти короли, эти магнаты. Не до склепа мнѣ было; у меня не было въ ту минуту ни воли, ни желанія, куда бы меня ни позвали, я бы всюду пошелъ. Что тамъ въ склепѣ у нихъ? что мнѣ хочетъ показать этотъ церковный сторожъ? Мнѣ было все равно. Душа моя кипѣла тѣми ощущеніями, о которыхъ я рассказывалъ выше. Я шелъ въ склепъ, скорѣе повинуюсь сторожу и понимая только то, что ему хочется содрать съ меня еще нѣсколько крестцовъ.

Онъ и его товарищъ подняли тяжелый люкъ, обитый мѣдью; они шли впередъ, освѣщая восковыми свѣчами подвалъ, въ который я спускался за ними по ступенькамъ. Свѣтъ на насъ лягся сверху.

— Панае, сказалъ мнѣ спутникъ, указывая рукой на гранитную гробницу.

Я прочелъ на ней огромными буквами высѣченную надпись:

KOŚCIUSZKO.

Я остановился какъ громомъ пораженный: все, что смутно поднималось въ душѣ, при неожиданномъ видѣ этой простой надписи, подступило къ груди, стѣснило, душило меня. Глядя на эту простую плиту, подъ которой поконитъ прахъ великаго несчастливца и честнаго человека, мнѣ стало еще тяжелѣе, еще совѣстнѣе моего скептицизма, цѣли, съ которою я поднялся въ путь; въ ушахъ громче, яснѣе раздавалось отвратительное слово

ренегата, и только сознание моей глубокой искренности, уверенность что самъ Костюшко оцѣнилъ бы честное сомнѣніе, благо-словилъ бы на честную провѣрку святаго для него дѣла, помогло мнѣ преодолѣть то невыразимо тяжелое, давящее чувство, которое въ ту минуту овладѣло мною — и я, потрясенный, разбитый, но съ обновленной силою, вышелъ изъ снѣга и изъ костела...

